Вслух

Повесть

1

МАМА, НЕ ВОЛНУЙСЯ, они меня провожали. Вдвоем. Он положил мою большую спортивную сумку в багажник своей огромной чёрной машины, а у въезда на Белорусский вокзал отдал — почти бросил, я едва успела подхватить. А она повела меня дальше — уже одна, потому что он опаздывал на работу. Он бормотал про пробки всю дорогу — иногда мне хотелось пойти пешком, только бы не слушать. Пыльно только — апрель, и дождя в этом году ещё не было. Она не могла сегодня никуда опоздать — разве только к любимой передаче, потому что уже давно не работала — с тех пор, как вышла замуж и стала жить в Москве. Раньше она жила через дом от нас, как и мы, на окраине города, а мама была её двоюродной сестрой. Да она и сейчас сестра. Только в нашем городе она ещё не носила белый итальянский костюм и лаковые туфли, не ездила на такой машине, не говорила, что может куда-нибудь опоздать.

— Ну, где там ваш поезд?

Я не знала, где поезд. Ей было неприятно быть здесь — и мне тоже казалось несправедливым, что эта красивая и богато одетая женщина должна стоять на перроне и ждать, как все. Ей хотелось быть с ним в машине, дальше от бледно-зелёных стен и запаха. Запах. Прямо на вокзале пекут пирожки, и этот запах всегда будет для меня запахом лохмотьев, грязных вязаных шапочек и немытого тела. Вокруг таких палаток всегда собираются какие-то люди. Помню такой детский стишок: «Вышло солнце из-за тучи. Все бомжи собрались кучей. Главный бомж сказал...» — наверное, они собирались на вокзале. После слова «сказал» нужно было молчать. И мы молчали, пока кто-то, наконец, не начинал тихо смеяться или не шептал случайно, и тогда все дразнили его, и всё начиналось снова.

Да, мама, потом она тоже ушла — как только подали поезд, — и я увидела, как нас много — мальчики и девочки с сумками, родители несут от привокзальных магазинчиков булочки и бутылки с минеральной водой. Они волнуются. Они провожают. Все обещают созваниваться часто-часто. Я бы пообещала, но это вряд ли.

— Ну, удачно тебе доехать, — сказала она. И ушла. Я ещё долго-долго смотрела на её красные глянцевые сапоги. Пока не открыли двери.

Мама, мне трудно не смотреть на лицо машиниста — двери и окна всегда прозрачные, и за-

чем он только всегда поворачивает голову и бросает окурки в окно, чтобы все-все проходящие мимо боялись и не хотели с ним ехать. И когда поезд едет, он курит. Курит и поворачивает голову — он тоже боится смотреть в лицо машинистам встречных поездов.

Я взяла с собой тот деревянный крестик, как ты просила, — видишь, не забыла, не потеряла, не выронила в автобусе или на улице. Я не стану носить его на шнурке, видимо, — там — это не принято, да и кресты другие. Да и есть ли они у них — кресты? Наверное, есть — нам говорили. В школе.

Я взяла из твоего ящика тот красный галстук с автографами вожатых, мама. Ты уже заметила, так не думай, что его украли или потерялся при переезде. А зачем ты его хранила — хотя не зря, его так здорово завязывать вокруг шеи — другим узлом, не тем, что ты мне показывала. Ну вот, так это я его взяла. Ты не обижаешься?

2

КОГДА МНЕ ЕЩЁ в седьмом классе сказали, что можно будет поехать в Германию — на целых три месяца, жить в семье, ходить в школу и говорить только по-немецки, я решила — сказки. Не найдут денег, да и есть ли люди, готовые стать гостевыми родителями совершенно чужому ребёнку?

Нашлись. Еду. Еду. В Саксонию. В замки. Ничего про неё не знаю. Вороны. Каменные мостовые. Бранденбургские ворота. Берлинская стена. Германия. Кажется, Германия.

Когда нас привёзли на вокзал и поезда стали объявлять на странном языке, состоящем из лающих выкриков, я понимала только, что поезда приходят и уходят. И большие часы с барочными завитушками показывали другое, немецкое время. И только посмотрев на сверкающие смыкающиеся балки чужого неба, поняла, что всё-таки приехала. И не обманул полный румяный бюргер в серебристо-стальной тёплой рубашке, что всех привёзут и встретят гостевые родители, и, наверное, через полгода так же увезут — думаю, даже поезд с зелёными волнами будет тот же. Жаль, что между нашими странами нет никаких морей.

Но это была ещё не Германия, а только вокзал. И пока не сделаю шаг с тяжёлой спортивной сумкой в руках, от поезда — на асфальтовую платформу, я ещё дома.. И секунда полёта сквозь маленькую вокзальную бездну — успеваю увидеть сверкающие рельсы и красную обёртку от жевательной конфеты. И тогда к нам подошёл человек, которого все называли Herr Reimer, и носил тёплую рубашку, но уже не был таким полным и румяным — что-то изменилось, даже улыбка.

— Вот тебе билет до Магдебурга. Ты выходишь в Магдебурге, поняла? Всё.

Хотела спросить — а встретят ли, а как узнают и не стоит ли взять под мышку зелёную папку, чтобы не перепутали с совсем другой девочкой, и с какого пути отходит поезд — не спросила. Забыла, как будет «путь».

И мы ехали, все вместе. И девочка рядом со мной никак не хотела снять тёмные очки — мы спорили, боялись, и всёникак не подходил контролёр, и женщины не хотели заходить в наш вагон.

Над дверью — синий экран, но у меня нет очков — такие толстые стёкла, и блестит фальшивым золотом оправа, так что не могу смотреться в зеркало, и названия станций расплываются. Только бы не спросить, только бы не увидеть удивлённые глаза девочек — как, ты не видишь?

— Магдебург написано, — Юля толкает меня локтём, и приходится разыгрывать прерванный полусон и удивление, — тебе выходить. Сумку не забудь.

Тихо здесь. И кажется, что никто не придёт. В том, первом письме, он назвался Людвигом — сказал, что интересуется всем на свете, и прислал фотографию — там он загорелый и морщины разбегаются лучиками от улыбающихся глаз. Такого и жду. Хотя — сумерки, и он вряд ли станет так смеяться, как на фотографии, — открыто, взахлёб, как будто ему не семьдесят и не стоит рядом равнодушная седая женщина — его жена.

— Morgen, Mädchen. Bist du Alexandra aus Russland, ja?[1]

Конечно, это я, я же жду — только меня так никто не называет — и, глядя в зеркало, не вижу никакой Александры. А вы кто? Ожидала — толстого от безалкогольного баночного пива жизнерадостного, а увидела — худого, старого и за спиной его такой же старенький серебристый форд. Глупо спорить. Это я — но как вы узнали? На той фотографии, что я прислала в ответ, — я — не я и слишком изменилась.

— Morgen. Das bin ich[2].

— Я – рад — тебя — видеть! — сказал он по-русски и рассмеялся, и правда — морщинки лучиками...

---

[1] Здравствуй, девочка. Ты Александра из России, да?

[2] Доброе утро. Это я.

И в пути стало душно, и казалось, что мы не приедем никогда, и я от скуки стала смотреть в окно — там наконец-то закончился город. По обе стороны дороги — золотисто-жёлтые поля и ветряные мельницы. Мельницы — зачем они? Не великаны, мне уже ничего не кажется. А он смеётся и говорит, что они вырабатывают электричество. Ещё мне хотелось — чтобы он вдруг остановил машину и можно было сорвать тоненький жёлтый колосок и вдохнуть этот аромат полей — полей люцерны, хотя я и не знала, как называются эти колоски, — это он сказал.

* * *

Отец часто брал меня с собою в поле. У него были две лошади, и, когда мы шли, он часто просил меня вести одну из них за собой в поводу. Когда он сажал меня верхом, было ещё лучше. В то солнечное утро мы пошли с ним косить люцерну... Поле было довольно далеко от деревни, а я был счастлив — можно ехать на лошади и быть с отцом.

Когда мы пришли на поле, отец сразу же принялся косить, а я остался без дела. И вдруг заметил, как куропатка взлетела прямо из люцерны, совсем рядом, будто напуганная нашим приходом. Отец придержал лошадей, я вгляделся попристальней и увидел в траве гнездо, полное маленьких желтоватых яиц в мелкую крапинку. Отец аккуратно обошёл это место, и трава над гнездом осталась стоять нетронутой. Это правда счастье, что смелая куропатка так скоро нам показалась. Обычно они остаются смирно сидеть около гнезда и тогда, конечно, уже ничто не может их спасти от блестящего размаха косы.

После этого я приходил к гнезду почти каждый день, наблюдая каждый раз издали, чтобы куропатка не взлетала при моем появлении. И вот однажды я услышал слабый писк — птенцы вылупились. Я неосторожно поднял голову из травы, чтобы получше их разглядеть — да, это были такие пушистые комочки с длинными тонкими лапками, — но тут куропатка-мать взлетела над моей головой с громким негодующим клёкотом. В этот день она больше не вернулась к птенцам, я тоже отошёл подальше, боясь, что она теперь бросит их навсегда, и из-за меня.

Но вечером, когда я уже было собрался уныло брести домой, не зная, как расскажу это отцу, я услышал отдалённое хлопанье крыльев. Куропатка возвращалась к птенцам, и, кажется, бросила на меня взгляд — мол, нужно быть осторожнее.

Больше я не стал приходить на поле люцерны. Отец даже удивлялся, почему я больше не прошусь с ним, ведь я так любил быть с лошадьми. Но я боялся снова спугнуть куропатку.

* * *

На заднем сиденье стоят два флакона из тёмно-синего стекла — кёльнская вода пахнет даже сквозь стекло, а в пути так жарко, но окно мы не открывали — а я не просила, потому что это запрещено. Один их этих домиков с красными крышами оказался наш, на соседнем надпись — «Продаётся», и маленькая седоволосая женщина на стремянке, тёмно-синий комбинезон и валик с тоскливой светло-зелёной краской — такие стены были в школе, неужели и здесь...

— Женщина-маляр. У вас такого не бывает, а? — Людвиг улыбнулся зеркальцу, а мне пришлось улыбнуться в ответ.

— Бывает.

Я сразу же спросила — а можно ли погулять, но только одна — потому что хочу скорее почувствовать город, сказать ему — что приехала не навсегда, но надолго, хотя это «навсегда» иногда и кажется короче, чем бесконечные четыре месяца — почти четыре, — и сказать городу, что не люблю петляющие улицы и пешеходные мосты — но, вообще-то, готова ему простить и это. Да-да, ответила Катарина, протягивая тёмно-розовые очки, а то очень жарко, солнце печет, и нужно беречь глаза. А почему ты щуришься, неужели ты плохо видишь, мы отведём тебя к хорошему врачу.

Es ist wirklich so, aber sie werden nie erraten... Das ist doch meine Sache, und ich bin so, wie ich bin. Verzeihung[1].

Я не щурюсь, вам просто так кажется, просто глаза болят, я же только что с поезда.

И почему ты называешь меня на вы, договорились же, ну и что же, что я тебе в бабушки гожусь, всё равно не надо этого, и возьми очки.

Да, и если заблудишься, знай, что твоя улица называется Unter der Linde, почти как та знаменитая, в Берлине — только там она под многими липами, а здесь под одной. Под липой.

И теперь мне всё кажется розовым, и если оглянуться назад — то будут розовые горы выступать над красными крышами, а если вперёд — то горы совсем близко и тоже розовые — ну конечно, очки ведь.

---

[1] Это правда, но вы никогда не догадаетесь. Это моё дело, и я такая, такая есть. Простите.

На улицах слишком много людей — сидят на лавочках или работают в саду, или выгуливают собак — а ведь вторник уже, и не несётся никто с работы, не несёт чёрные портфели с бумагами, и смотрят на меня так, как будто уже все знают — а я здесь не случайно и ещё очень плохо знаю склонение прилагательных.

А Людвиг этот мне кажется неразговорчивым.

3

ФОТОГРАФИЯ СТОЯЛА на каминной полке, повёрнутая лицом к кирпичном кладке стены. Это не показалось тайной, поэтому я перевернула и почти узнала того парня в форме, улыбающегося на фоне сходящего за спиной заснеженного горизонта. Но я бы никогда не подумала, что это он. Он не умеет так улыбаться, и... Хотя вообще я ничего о нём не знаю и даже понимаю плохо, но это не страшно. С кем мне было разговаривать? Дедушка погиб на зимней рыбалке — а я каждый год хотела с ним, заваривала в термосе шиповниковый чай и никогда не выходила. Иногда он рассказывал, да. Только я была маленькая и ещё не всё понимала. Больше никого, кто мог бы рассказывать, у меня нет. Газеты... в газетах не пишут.

Когда Людвиг вошёл, испугалась. Спрятала фотографию за спину. Тяжёлая рамка. Твёрдое дерево и металлические пластинки. Не вырвется из пальцев.

— Wie war's in der Schule? Ich habe den Stundenplan gesehen — wieder Turnen, nicht war? Erzähl mal, bitte[1].

Так всегда — расскажи. Это тоже задание — не в школе, не за партой — за обеденным столом, в саду, в машине — рассказывай, как прошёл день, Саша. А это всего полдня — до часа. И я рассказываю. И рамку держу. Долго.

— Turnen, genau. Wir haben Federball gespielt. Aber das war nicht was für mich, deshalb saß ich mit Sabine zusammen auf der Bank...[2]

— А почему Забина не играет?

— Она же немного полненькая, и стесняется, тем более у неё такой голубой хлопковый костюм.

— А ты почему? Почему не играешь?

— Не хотелось.

Всё — потом, за послеобеденным кофе. На рамочке — абстрактный орнамент, неровные кружки и треугольники, и это очень нужно, как раз чтобы пальцы не соскальзывали.

— Катарина варит капучино. Пойдём?

Да, он всё ещё верит, что это она варит. Кофе-машина сломалась и нужно нести в ремонт — и она молчит, потому что знает, что никуда он этим вечером не поедёт, потому что прихожу из школы я — всегда весёлая, голодная и с выдуманными историями. Ни с кем я не разговариваю. И поэтому мы пьём сладкий, растворённый кипятком коричневый порошок из банки. Уже неделю почти.

Людвиг не идёт пить таблетку перед едой. Ждёт. И я роняю рамку — не на пол, на ковер.

— А, это...— он тяжело опускается на корточки, бережно стирает пыль — с поблёскивающего стекла — с молодого улыбающегося лица, — это брат. Он погиб, давно уже. А ты подумала — я? Нет, у меня же нет фотографий.

— И детских, и свадебных? Это же просто красиво и ничего не значит — а потом твой внук спросит — а как выглядел твой отец, папа, тот самый, что обрезан со свадебной фотографии бабушки Катарины. И внуку ничего не ответят.

Но он не стал рассказывать — кажется, он просто хотел бы поставить фотографию на место и как можно быстрее забыть.

* * *

Он был очень хороший мальчик, мой брат. Его Гилмар звали. Родители очень радовались, когда он родился. Мне кажется, они даже мне так не радовались, как ему. И родители уже давно говорили, что аист принёсет им девочку, а мне — маленькую сестрёнку. И хотя мне было всего пять, я до сих пор отлично помню, как тогда обрадовался. Восьмого апреля 1944 года мама сказала Анне (почему-то она была для меня всегда Анна, а не бабушка Анна): «Mutter, ich glaube,es beginnt gleich...»[3] Бабушка привела какую-то женщину, а меня взяла за руку и повела гулять. Когда аист прилетит, объяснила мне Анна, он клюнет маму в ногу и оставит ребёночка на подоконнике. И чтобы он не клюнул и меня с Анной, мы должны спрятаться. Да я и до сих пор в это почти верю. Анна велела мне идти в сад, а сама встала под окном, чтобы никто аиста не спугнул. Я спросил её — а может ли быть такое, что аист не прилетит — мне это почему-то казалось очень смешным, только она не улыбнулась.

---

[1] Как было в школе? Я посмотрел расписание — снова физкультура, правда? Расскажи.

[2] Физкультура, точно. Мы играли в бадминтон. Но это всё не для меня, поэтому мы с Сабиной просидели на скамейке.

[3] Мама, мне кажется, скоро начнётся...

И ещё сказала, что может быть. Я очень боялся спугнуть аиста, поэтому ушёл к старым яблоням. Я ждал.

Аист принёс мне не сестру, а брата. Когда мы с бабушкой вернулись к маме, аист уже улетел, но окно было открыто. Я сейчас же бросился его закрывать, потому что по комнате гулял весенний ветер, а мама лежала совсем усталая и только чуть-чуть, самую капельку, улыбалась.

* * *

Я всё-таки сказала:

— Людвиг, кажется, капучино стынет.

Он вспоминает про таблетку, поэтому из комнаты выхожу первой. Не хочу видеть, куда он поставит фотографию, а может быть, спрячет за дверцами старинного серванта, откуда не достают посуду и подсвечники, — кажется, он нужен просто для того, чтобы держать лёгкие стены домика под красной крышей. И не хочу услышать чужую семейную тайну.

Не видела таких семей. Он не ездит утром в булочную на велосипеде, не шелестит ароматно бумажный пакет. Думаю, он даже не знает, откуда у них берётся хлеб.

4

ПОТОМ ОН СИДЕЛ за кухонным столом, отодвинув к локтю манжету тонометра. Стрелка уже затихла, не бьётся, не двигается, серебристая трубка не дышит. Стрелка боится дрожать — потому что он злится. Но я же ничего не сделала.

— Вода лилась три четверти часа, — он отвернулся, скользнул взглядом по висящему на люстре «Везунчику» — бесполезной и бессмысленной серой кукле, что я так давно — две недели назад — привёзла в подарок. Так принято. Меня даже предупредили, чтобы не везла русскую водку.

— Я не понимаю. Ну и что?

— Разве вам в школе не говорили, что у нас из крана текут деньги?

Он резко поднимается — а так нельзя делать, потому что темнеет в глазах и растут белые прозрачные кристаллики сахара в крови — он уже объяснял, и я даже утром мимо их комнаты ходила на цыпочках, чтобы — всё хорошо и не волноваться ему.

— Ну ладно, я больше так не буду.

— И не будешь без разрешения трогать вещи на столе в гостиной.

— Я же просто посмотрела фотографию. И если это правда не ты — то извини, я же не хотела.

— Ich habe wenig Fotos, wo ich da bin, dass habe ich schon erklärt...[1]

— Людвиг, а ты был на войне? Нет — я понимаю, что ты очень маленький был, но ведь что-то ты видел?

Неожиданно он улыбнулся — слегка, уголком губ.

— Ich war nur zehn Jahre alt, als den Krieg begann. Selbstverständlich, war ich nicht dabei. Naher, später, fang alles Interessantes an — ich war doch zuerst ein Kraftfahrer gewesen, bis ich Zimmermannsberuf erlernt habe — ich musste also dem Auto fahren — von Berlin bis Magdeburg und zurück. Das wäre alles. Ich habe nichts gesehen, sonst wäre ich was erzählen, kannst du mir glauben. Schon lange Zeit wollte ich die Erinnerungen schreiben — aber kann nur einiges — über dem Friedhof[2].

— Про какое ещё кладбище?

— Когда мы познакомились с Катариной, мне было сорок три, ей — почти сорок. Теперь мне не кажется, что это много. У меня тогда нога почти не действовала из-за аварии, а у неё уже был микроинсульт, и лицо становилось такой маской — тогда она говорила, что его не чувствует. И вот мы пришли на могилу к отцу — поддерживая друг другу, потому что там в горку долго подниматься, я тебе когда-нибудь покажу. Я иногда смеялся, а она обижалась — но это всё вправду было смешно. И вот так встали у розовых кустов, посмотрели друг на друга... И она тут улыбается мне — в пол-лица. И говорит — нет, не хочу. И я не хотел. Потом пошёл дождь, и мы пошли домой готовить картофельный суп на ужин. И всё, больше мы об этом не говорили.

Мне хотелось молчать.

— Пойду к себе. Заниматься.

— Подожди. Возьми шоколадку. У вас ведь нет таких, наверное.

Я говорю спасибо — а ведь у нас уже давно есть всё, но лучше бы не было, тогда бы нам было о чём разговаривать — а так они не верят, что всё давно хорошо и не надо меня жалеть.

---

[1] У меня мало фотографий, где есть я, объяснял ведь уже...

[2] Мне было десять, когда началась война. И конечно, меня там не было. Всё интересное началось потом, на работе – я же вначале был шофёром, пока на столяра не выучился. И водил машину от Берлина до Магдебурга и обратно. Это всё. Ничего я не видел, а видел бы – рассказал, можешь мне поверить. Давно уже хочу писать мемуары, но знаю только про одно – про кладбище...

И кладбища у них странные — в городе Гернроде, где ещё самые большие в мире часы с кукушкой, — большое, но без сторожа, и не синеют ограды, не зарастают холмы кладбищенской ядовитой смородиной и лопухами. Нет оград — и такое чувство, что они заранее купили эту общую землю — потому что покупать оптом выгодно, а они так хорошо это понимают.

5

АНКЕ СЕГОДНЯ не в чёрном. Анке снимает очки — узенькая оправа, тоненькие стёкла — и правда не понимаю, зачем такие носит. Радуются они — убирают конспекты и достают бутерброды, шуршат золотистой фольгой. А потом входит она — из неосвещённого мрачного коридора, в тёмной длинной юбке, красные от хны волосы до плеч. Сквозь кружевные рукава блузки просвечивает татуировка. Она учит. Этике.

— Радуйтесь, мои дорогие дамы и господа. Мы не учимся сегодня, а всего лишь смотрим кино.

Её постоянное «So, meine Damen und Herren» стало чём-то привычным, неотделимым от красноватых кудряшек. Вначале не поняла, на каком языке говорят бегающие на экране маленькие люди. А потом взяла карандаш из пенала — и не выпускала из рук долго-долго, до самого конца фильма, потому в первую секунда камера показала протекающий рубероид крыши, ржавый забор — знакомый забор, там ещё будут рядом заброшенные пятиэтажки, где никто не хочет жить, и не из страха — и обрывки колючей проволоки и несколько десятков мальчишек, вытянувшихся по струнке на плацу. Вот крайний справа — потёртая хлопчатобумажная майка, лицо с выступающими острыми скулами, и камера высвечивает это печальное лицо, плохо умытое, с грязновато-серыми потёками среди частых веснушек — лицо двенадцатилетнего мальчишки, которого зачём-то забрали с улицы и отобрали сигареты.

— Как вам здесь живётся, Васенька?

А у него на кармане жёлтыми нитками вышито имя, не Васенька конечно — Вася, и потом он уже закрывает вышивку ладонью, но уже поздно, потому что бородатый журналист, которого пустили — а потом выпустят, но только его одного — и чём он это заслужил: джинсовая жилетка со множеством карманов и дешёвый кассетный диктофон. Пускай он только выронит китайскую игрушку, и наступить только раз ботинком — и останутся осколки, и никакой правды.

— Хорошо живётся, — хмуро, хмуро, не глядя в глаза камере.

— Кормят хорошо? Учат чему-нибудь?

— Да, — не глядя.

Журналист пытается улыбнуться и сам поворачивается к камере, на глазах у строя разрывая шнуровку на пятнистом военном рюкзаке:

— Мы привёзли ребятам набор тетрадей в клетку, фломастеры и мармелад. Мы сейчас находимся в колонии для несовершеннолетних, каких раскидано по России немало... А скажи нам, пожалуйста, вас не обижают воспитатели? Говори, не бойся. Может, какие-нибудь наказания за плохое поведение есть?

— Нет.

— А почему вы без курток? Холодно ведь. — Журналисту тоже холодно, но он снимает с себя жилетку — медленно, напоказ.

— Гимнастика. Всем тепло. Что вы, не надо...

— Бери-бери. Отогревайся. А вы не пробовали жаловаться?

— Да на что жаловаться-то? — мальчишка передёрнул узкими, обтянутыми грубым полотном плечами. — Всё нормально.

— Хорошо вам здесь, в Шексне, да? А про другие страны вам на уроках рассказывают? Как думаешь, там люди лучше живут или так же, как здесь?

— Да. Про Англию, про другие разные...

— А ты хотел бы жить не здесь, не в России?

— Нет.

Через несколько минут снимали уже одного бородатого журналиста на фоне кирпичной стены — при нём уже не было рюкзака и жилета с карманами.

— Детей тут заставляют на морозе заниматься какой-то непонятной гимнастикой...

Акцент его стал сильнее, картинка рассыпалась на смазанные квадратики.

— Такой дом называется *барок*... — учительница постучала указательным пальцем по лаковому покрытию стола, привлекая внимание, готовясь к длинной речи..

— Барак. Такой длинный дом для заключённых. Как правило, без отопления. Только это неправда.

— Что значит — неправда? Это официальный репортаж, в рамках...

Обиделась учительница, в глазах с коричневыми крапинками сгустились слёзы.

— А даже если правда, вашего немецкого журналиста бы просто не пустили. Вы же слышали, как разговаривал это мальчик, — это же всё слишком напоказ, чтобы все поверили, — там над ними издеваются, запугали до такой степени, что дети могут только повторять «всё

хорошо, хорошо». Зачем это вам нужно? Почему именно теперь?

— Потому что в учебнике такая тема, определённое количество часов..

— Это потому, что я здесь?

Шексна. Это село, но так же называется река, на которой стоит мой город.

И — нет, я не сломала карандаш, отложила в сторону — он так медленно катится по выкрашенной в солнечно-медовый крышке парты. А они молчат. Она пытается найти ту единственную кнопку на пульте, которая всё исправит — и журналист перестанет жалко и натянуто улыбаться. Я слышала, как звенит звонок. Как они, гремя стульями, бегут на перемену — пить, есть и курить. Как она нашла кнопку, но не ту, и стала перематывать плёнку на начало. Как в класс тихо зашла маленькая светловолосая девочка из параллельной группы. Слышала.

* * *

Первого октября 1945 года я должен был идти в школу — ведь за несколько дней до того мне исполнилось шесть. Я был слишком маленьким для школы, но мама сказала — пусть, да и я хотел. Но у меня не было ранца, и взять его было неоткуда. Купить, конечно, мы не могли, и покупать было нечего и негде. Наконец мама встретилась с каким-то человеком и купила у него старый ранец вытертой коричневой кожи — он уже два раза по восемь лет «отходил» в школу, и теперь ему предстояли ещё восемь. В общем, он был гораздо старше меня. Писали мы по доске из шифера толстым грифелем и стирали мокрой губкой, которую затем вешали сушиться на длинный шнурок. Наша книга для чтения почти сплошь состояла из сказок и историй про животных.

Да, что ещё нужно было непременно сделать перед школой? Подстричься, и мне сделали аккуратную, открывающую уши стрижку. В кармане у меня всегда лежал деревянный гребешок.

Да, и тёплых штанов на вате тоже не было, мы все носили короткие, сразу за колено, вместе с вязаными чулками, как у девчонок. Мы мёрзли на улице, но не слишком сильно, потому что в школе было холоднее — древесного угля уж точно не было ни у кого, и нам совсем не топили.

6

БЕЛЛО СЕГОДНЯ не лаял, не встречал, не царапал дверь. Ждал. Пока я поставлю сумку — поставлю, не брошу — на белые скрипучие доски лавочки. И Людвиг, поливающий золотистые крокусы в оранжерее, спросит — ну как было сегодня? И я отвечу — всё хорошо, как обычно, а на математике было очень холодно, и нам впервые за всю четверть разрешили надеть куртки прямо на уроке...

— А потом мы спорили. Долго. На этике — представляешь, нам такой фильм показали, как специально, ведь она знала, откуда я приехала. И ты знаешь, ведь в тех местах, где я живу, есть такой посёлок Шексна, и там...

Думала — он поймёт. И согласится со всем — ведь я же права, я не могу быть не права! Но он молчит и даже не спешит просить Катарину готовить кофе и нести шоколадное печенье, а пальцы чуть сильнее, чем обычно, сжали край пластмассового столика.

— А почему ты так разозлилась? Разве такого нет?

— Наверное, нет — по крайней мере, я ничего подобного не видела, не слышала, не читала, а ведь я живу совсем рядом — и, Людвиг, у меня есть подруга из Шексны, и она не боится ходить ночью по городу, у них всё хорошо...

— Да вам просто ничего не показывают! По телевизору говорят, что всё хорошо, а вы верите.

— Людвиг. А даже если всё так, как вы говорите, — то какое дело вам, вашей Европе, вашему Евросоюзу до нас? Это — наши проблемы, наша беда, и мы сами разберёмся. И никакие бородатые журналисты не нужны.

— Вы не одни в мире.

— Одни, Людвиг. И никто к нам не приезжает — такой журналист запутался бы в расписании наших электричек на зелёном фоне, я и сама иногда не могу угадать стёртые цифры. Никого не было.

— Ну, говори тогда сама, говори — почему ты молчишь, и все молчат?

А слова перестали значить — просто шорох колёс за забором, трели телефона из соседнего кирпичного домика под красной крышей — его уже кто-то купил, и от этого так пахнет краской, или просто они варят пиво во дворе монастыря Вентузен.

Я ушла на улицу, чтобы он не злился.

— Куда ты? — кричит.

— Гулять. Мне скучно.

Мне скучно с тобой, и я знаю, что никому ты не скажешь, что я ушла, и родителям вечером в пятницу по телефону соврёшь про экскурсию вместе с классом куда-нибудь на рыцарские игры...и папа грустно взглянет на хрипящую непонятными словами трубку и уйдёт смотреть телевизор, а маме скажет, что у меня всё хорошо,

вот только уроков много задали и долго разговаривать не вышло. Наверное, Людвиг знает, что я скоро вернусь. Оставить гитару, любимую куклу — ну куда я пойду?

Небу было больно. Острые клыки гор Гарца впились — зачем небо сегодня так низко, вот-вот заплачет и ручеёк под мостом по дороге в школу станет настоящей горной рекой. Но пока не плачет — не плачь, иначе я могу забыть, как идти до станции.

Поезд приходит каждый час — не до Берлина, зачем мне Берлин — не понравились мы друг другу сразу. Он мне — зеркальными потолками на вокзалах, где отражаешься слишком маленькая и бледная, и автоматами вместо знакомых лиц кассиров на продаже билетов, а я ему... Помнишь прадедушку, который тоже ходил по твоим площадям? Но я же не виновата, ты мне веришь, город?

Билет до городка Хальберштад — самый дешёвый — кажется, это слишком близко, чтобы я в электричке всё забыла и успокоилась.

А поезд опоздал на три с половиной минуты.

7

МОЙ ОТЕЦ НЕ БЫЛ крестьянином по рождению. Его, в отличие от меня, здорово покидало в разные стороны, поэтому мне неудивительно, что он выучился на парикмахера и даже успел в этом своём городке всех подстричь. Во время войны работал в Магдебурге на производстве — наверное, мама очень боялась тогда за него, ведь все знали — туда очень часто падают бомбы.

В деревню Шванеберг он приехал незадолго до моего рождения — приехал, чтобы больше никогда не уезжать. Ветер и дождь, тяжёлая работа в поле — его тело, казалось, было просто создано для этого. Он таскал мешки с мороженой кормовой свёклой тяжелее своего собственного веса. Когда отец приходил с поля — высокий и красивый и струи дождя стекают по дырявому уже плащу из рогожи, а мы, дети, бросались его встречать — он улыбался. Он был счастлив.

Но когда плащ из рогожи развалился окончательно, мама сказала, что он не может идти в дождливое утро и грязное поле без него. Она зашивала несколько часов подряд, потом беспомощно развела руками — штопка ещё больше прорывала ветхую ткань. «Съезди к родителям, — сказала она, — кажется, у отца была какая-то куртка». И дала ему с собой три свежих яйца — королевский подарок. Конечно, её родители отдали бы куртку и так, но ей хотелось их чём-то порадовать.

Отец сел на велосипед и поехал, укрываясь своим бывшим плащом из рогожи как одеялом — счастье, что дождь почти прекратился, а родители мамы жили всего лишь на противоположном конце деревни.

Он гордо вернулся с курткой в рюкзаке — зато с какой!... Она тоже была весьма и весьма дырявая, зато зашитая нитками всевозможных цветов — уж верно, бабушка постаралась в своё время. При внимательном рассмотрении мы нашли ещё несколько дырок, но не страшных. Отец был ужасно доволен, хотя мама смеялась и потом ещё долго называла эту его куртку «дырявым рубищем». Хотя стирала заботливо каждую неделю.

Отец носил «рубище» ещё много лет, и снял только тогда, когда остались настоящие лохмотья. Зато в доме появилось много-много тряпок, чтобы вытирать печь и стол.

8

ОКРАИНА города — почему-то поезда останавливаются и никогда не доезжают до центра, а раньше я думала, что самые дорогие магазины — привокзальные, и так гордилась купленными в Berlin-Zoo солёными орешками.

На этой окраине жили машины. Одни только машины под светом прожекторов — наверное, стоянка или что-то вроде этого — свет становится красным, вишнёвым, фиолетовым, отражаясь от лаковых поверхностей, машины становятся похожими на огромные ракушки, на панцири гигантских креветок. У забора полоска света резко обрывается, и последний потухший фонарь тонет в чернильной вязкой темноте. Зато из-под земли — из люка — тоже свет. А если заглянуть — будет очень страшно, как раз у нас во дворе суетились рабочие, и я заглянула, потому что крышка ливневой канализации была откинута и забыта.

А там была — грязно-оранжевая детская рукавичка, но страшнее всего — муравьи, разбегающиеся в стороны от света. Но даже в лесопарке по дороге в школу ни разу не видела муравьёв — есть только один муравейник, но, кажется, необитаемый.

На дне лежит свёрнутое детское одеялко, поцарапанный электрический чайник и какая-то одежда висит на лестнице — сушится, вот только дождь сейчас пойдёт, а крышку люка те, что живут здесь — и как им не страшно — закрыть забыли. Хорошо всё-таки, что нет муравьёв.

Хотела закрыть, чтобы одеяло не намокло — не смогла. Хорошо, пускай теперь лампочка

бессмысленно и ни для кого горит из-под земли — тот, кто здесь живёт, может не платить за свет.

И хотелось по-русски, хотя это и нельзя, ведь был же такой пункт договора, который мы все подписали в школе — и никому не было страшно, никто не обратил внимания, что нельзя по-русски ни петь, ни смеяться, — хотелось что-нибудь кричать тихой, связанной прожекторами автостоянке — никакой охраны тут нет, не нужно!

Зачем он так со мной?

9

НО КОНЕЧНО, я не остался в Шванеберге, но уехал, едва получив аттестат зрелости. Отец не останавливал — хотя и жалел временами, что не пришлась по душе деревня и каждодневная работа в поле. Тут он ошибался — я до сих пор не могу вспомнить время удивительнее тех дней, что мы вместе проводили среди люцерны. Но всегда не может быть хорошо — и он это понимал, поэтому даже сберёг какие-то деньги мне на дорогу. Только перед самым моим отъездом он, наконец, спросил, кем я хочу стать. Я ответил, что музыкантом. Он помолчал немного, нахмурившись, потом сказал: «Нет. Пойдёшь на столяра». И всё. Я больше об этом не думал, потому что теперь знал — поеду в Ванцлебен и поступлю на столяра. Я не боялся отца, но его решения не принято было обсуждать, хотя человек в целом он был мягкий — по крайней мере, мать он любил, и она его не боялась, что, в общем, в деревнях порядочная редкость.

Я учился, хотя и чувствовал временами, насколько не моё всё это. У нашего мастера были коричневые усы и невероятно добрая улыбка. Ещё он был старым. Я даже тогда и не думал в шестнадцать лет, что бывают такие старые люди.

10

ЛЮДВИГ ПРИЕХАЛ утром. Старенький серебристый форд у обочины означает, что я не зря гуляла всю ночь по таким узким улочкам, под смыкающимися под небом балконами. А ему ещё вчера хотелось ехать, но бежать к машине он не мог, и электрички ходят теперь часто, в кармане у меня три евро — хватит на чашку кофе и мороженое, а армянское бистро — ближайшее к станции. Там даже можно было бы переночевать — ведь не в парке же, и не потому, что боюсь полицейских, а просто на улице здесь никто не спит.

Я отрыла дверцу и села рядом — он не повернулся, да и дождь накрапывал, мешаясь с мыльной водой для мытья асфальта, стекал к колёсам.

— Ты завтракала? — Людвиг едет тихо-тихо, будто сейчас кинется под машину бабочка, и даже тогда можно успеть остановиться, и бабочка просто мягко опустится на лобовое стекло.

— Нет пока. Ты слишком рано.

— Твои родители вчера звонили. В восемь.

— И что ты сказал?

— Что ты на экскурсии с классом.

А он врал, хотя ненавидит это, представляя, как они в своей однокомнатной разойдутся по делам — пойдут варить пельмени, выключать телевизор, станут смотреть на спящего на стопке постельного белья кота. Потом он хотел заводить машину, но Катарина сказала, что ночью никуда не нужно ехать, что он больной и старый, и всё с ней будет в порядке, это же Саксония. А потом с какой-то русской книжкой на коленях, не понимая смысла, зато с какой-то нежностью всматриваясь в смешные угловатые буквы, а под утро ему стало казаться, что он знает, о чём речь только не может сказать, только очень сложно подняться с жёсткого стула.

— Катарина готовит гренки. Пристегнись.

— Людвиг, я просто разозлилась. Думала дойти до станции, посмотреть на поезда и вернуться. Потом мне стало холодно — и я зашла погреться в поезд, ненадолго, а потом выйти не успела, потому что эта маленькая женщина в чёрной жилетке встала у выхода, а как сказать, я забыла... Не обижайся на меня, пожалуйста.

И он знает, что это неправда — просто красивые слова на чужом языке, и если мне приходится молчать лишние секунды перед тем, как говорить, то разве это значит, что можно вот так — для красоты и чтобы не звенела тишина вдоль дороги домой. И «люблю» я обязательно скажу по-немецки, чтобы не так страшно.

Мне показалось, что черепица на крыше его дома стала бледнее — и красная краска стекает вместе с дождём по водосточной трубе.

11

— ПОЧЕМУ ТЫ МНЕ никогда не рассказывал, что у вас есть нищие?

Я дождалась конца завтрака, конца ужина и, когда он вышел из сада с тоненькими саженца-

ми томатов в руках, села рядом на скамейку, захватив штопку, — пускай видит, что я вовсе не ради него, не ради долгих разговоров о школе, а просто я не люблю этих окон, которые не пропускают ни пыль, ни ветер, так и сидишь себе — в комнате только одно моё дыхание, и от этого страшно. У меня пластмассовый грибок с наполовину отколотой ножкой — нашла у Катарины, а она обрадовалась, хотя и считает меня непрактичной и нехозяйственной.

— А у нас есть? И потом, ты же редко спрашиваешь.

— Там, на том вокзале, куда я вчера приехала... там крышка от ливневой канализации была снята, вот и заглянула. А там лампочка горит, и детские варежки сушатся. Людвиг, но там же живут люди, они просто вышли куда-то — может, еды ребёнку купить или ещё куда. Но они же живут, а мне никто не поверит, если я расскажу...

— Почему не поверят?

— Да потому что всё хорошо у вас! Ничего не случается! Смотри — ты же сыну своему взрослому помогаешь, а он не бедный, врачом работает. У вас дом огромный, большая собака, сад с грушевыми деревьями — что может быть у вас плохого?

— Ничего. И бездомных не может быть. — Он снова не хочет ничего объяснять, а я, кажется, сама виновата, я постоянно повторяю — у вас, у вас. Когда-нибудь будет «у нас», мне же придётся сюда вернуться, ведь осталась так мало, а то он так и будет всю жизнь на меня обижаться и считать русских самолюбивыми гордецами, бегающими от проблем. И иначе я быстро забуду язык, и мне будет страшно от каждой неправильной грамматической формы, а потом мне понадобятся разговорники, и однажды так во фразу «доброе утро» закрадётся ошибка, а я этого не замечу. Herrgott[1], неужели уже три месяца прошло?

Белло лает, слышишь?

— Это ничего, это соседи к нам на кофе пришли — сбегай скажи Катарине, чтобы начинала накрывать на стол, я им дверь открою.

— Я ни разу не видела, чтобы к вам приходили какие-то соседи.

— Просто так. У них времени много, пускай посидят с нами.

— Вторник. Половина четвёртого. Разве они не работают?

— Нет. А зачем?

Белло лаял слишком громко, а мне пора было бежать в дом и кричать Катарину — а потом вместе нести литровый кофейник в сад, и кусочки рафинада к нему, и свежеиспечённый сырный пирог. Они здесь так чизкейк называют — смешно.

Сосед смотрит — наверное, они рассказали всем обо мне, и только бы он не стал спрашивать, правда ли у нас все пьют водку, а вот, девочка, — отличный ягодный шнапс, полгода настаивал, неужели не пробовала? А может, все знали и раньше — советовались со всеми, волновались, вешали в комнату политическую карту мира.

Людвиг сажает всех под навесом, потому что боится дождя, заказывает по телефону пиццу с салями и ананасами, запирает Белло в комнате — кажется, ему жаль и лучше бы соседи не приходили, и он любит повторять, что чем больше узнаёт людей, тем больше любит животных.

Соседка — женщина с короткими красными волосами и злой тонкой улыбкой — почему-то несколько раз спросила меня, люблю ли я дождь.

— Плохо это, да? Когда дождь... — каждый раз поясняла она и выжидающе улыбалась, а я хотела сказать, а где были бы ваши томаты и глицинии без дождя, но снова забыла слова.

— А девочка у вас мало говорит, да? — теперь она смотрела на Людвига, а он стал рассказывать анекдоты.

— Man klingt darunter, auf dem Erdgeschoss und schweigt. Der Wohnungsbesitzer da oben steckt den Kopf aus dem Fenster und sagt: „Was wollen sie?“ Und fragt man: „Entschuldigung, ist das der Obstladen?“ — „Nein“, — „Warum stecken sie denn ihre Kohlrübe heraus?“[2]

Женщина с красными волосами не стала смеяться. А муж её сидел в углу и набивал трубку сушёными вишнёвыми листьями, а потом Людвиг вспомнил про вечерний выпуск новостей и принёс во двор маленький телевизор с крохотной антенной из золотистой проволоки — и странно, что ему не нужна розетка.

Я вначале не слушала, потому что мне надо было хотя бы улыбнуться над этим несмешным анекдотом, я же ещё вспомнила — мы иногда играли в начальной школе в похожие игры, а потом надоело.

— Ты должна больше разговаривать, — назидательно говорит она, наклонив голову, — вот я

[1] Господи Боже.

[2] Внизу звонят в дверь. Хозяин квартиру наверху высовывается в окно и спрашивает: «Что вам?» Ему отвечают: «Простите, это овощной магазин?» — «Нет» — «Тогда почему вы высунули вашу репу наружу?»

в твоём возрасте тоже много училась. А вообще весёлое это было время, когда мы были в её возрасте, правда, Людвиг?

— Я плохо помню, — он с беспокойством взглянул на меня — да я не обиделась, можете говорить всё, что хотите. Сейчас я ещё немного подумаю, и скажу...

— А когда стена рухнула, вы помните? Вроде бы совсем недавно? — это я им обоим, хотя Людвиг и не виноват вроде... — Вы плакали?

— Кто-то даже танцевал. А мы даже из дома в ту ночь не выходили, боялись — те, с запада, гуляли по улицам и пили шнапс. Они казались нам такими ужасающими, чужими... Впрочем, и нам ночью гулять было безопасно — на женщин они не смотрели — были слишком счастливы. А почему мы должны плакать — это же нас не касается.

— То есть как? Это же ваша жизнь.

— Да стали жить, как жили. А что? Вот с Бернаром познакомились, дом купили.

— И кроликов.

Людвиг толкнул меня локтем. Но я уже не хотела молчать — вспомнила всё слова, но говорить было нельзя — все равно это я виновата, что женщина с красными волосами расстроилась, даже отложила в сторону тарелку с пиццей.

Соседи ушли быстро, и женщина сама набила ему трубку и, роняя на гладкую дорожку между домами вишнёвый мусор, увела домой. А Людвиг сказал, что вечером им нужно кормить кроликов, и кролики — их жизнь, и пришли они только посмотреть новости и съесть чизкейк.

— Ты их пригласил, потому что я завтра уезжаю?

— Нет, — он не помнил, не помнил, иначе бы разыграл удивление, а я не хочу больше оставаться — это неправильно, что соседи приходят смотреть новости! А телевизор работает на батарейках только полчаса, я это знаю, а они — нет. — Ну, тебе хорошо было у нас?

— Людвиг, я тогда не хотела от вас убегать, правда. А если вы придёте провожать меня на вокзал, не расплачетесь?

Белло снова залаял, но мне не хотелось его успокаивать — в конце концов, это всего лишь старая собака — лает от скуки, мимо дома в эту пору никто не ходит.

И тоже от скуки, а может, потому, что стало жалко Белло, я пою — тихонько, так, чтоб Катарина в доме не услышала:

Ich gehe mit meiner Laterne
Und meine Laterne mit mir,
Dort oben leuchten die Sterne,
Hier unten leuchten wir...[1]

Я не помнила, какие слова дальше, да и Людвиг раздумал идти в сад, остался со мной, у калитки, на маленьком пластиковом стульчике.

— Неужели ты знаешь песню?

— Да. Мы в школе учили. А ты тоже знаешь, откуда?

По-моему, он хотел сказать, что песню пела мама и шла на реку стирать бельё, и не хотела его брать с собой, и, чтобы он не боялся оставаться дома, давала ему маленький фонарик с непрозрачным синеватым стеклом и еле тлеющим, плавающим в масле фитильком, и снова пела ту самую песенку, что когда-то услышала от своей мамы на рождество, и так вот получилось...

А я знала наверняка, что её сочиняли для того красно-коричневого учебника второго класса, и никогда её не было до того, как маленькая белокурая женщина в очках села писать его для совсем маленьких школьников, и ничего больше, чем есть в этой песенке, сказать не хотела.

И он шёл с этим фонарём, который не греет, и знал, что в доме ещё холоднее, поэтому лучше здесь — во дворе, на улице, всё равно мама ещё долго не придёт. А я после школы не всегда шла прямо домой, и мне не надо было никакого фонаря.

12

— А ЗАЧЕМ ТЕБЕ красный галстук? — спрашивал он, потому что я никогда не убирала кусочек яркой материи из коридора, чтобы не забыть надеть в школу, — последние две недели мне не хотелось с ним расставаться, как будто он может меня от чего-то уберечь. А крестик я не ношу, не знаю почему — не могу...

— Мама дала. Мы после школы сразу поедем, да?

И хотя я никуда не спешу и вообще раньше думала, что останусь навсегда — иначе зачем было приезжать, — захотелось, чтобы он сразу стал греть машину, хотя это и не нужно — такое лето, и цветёт кактус в садике несколько часов в эту ночь, мне никогда не было так тепло, так

[1] Иду я с моим фонарем,
А мой фонарь – со мной.
Там, вверху, светят звёзды,
Здесь, внизу, светим мы.
(Народная песня. 19 век).

едем же, да? И я не пойду ни в какую школу, ведь я всех их так ненавижу, с этими бесконечными бутербродами на переменах, и перемены тоже бесконечные, потому что нужно обязательно выходить во двор — это называется у них «проветривать аудитории», — а снаружи почему-то всегда холодно, и идёт дождь. А они смеются над моей тёплой курткой, и бормочут что-то про сибирские зимы.

Людвиг не разрешил. Потому что дети должны ходить в школу.

...Они бросали камни не в меня, просто так — да и камни маленькие, не страшные. Я сразу поняла, что это какая-то игра. Камни они принёсли с собой и кидали по очереди в сетчатый забор школьного двора. Ребята из моего класса — даже Анке — стояли у велосипедов, как будто все учителя разом заболели и можно будет быстро ехать домой. Ждали.

Анке сразу же спросила — хотя младшие всё ещё играли в камни и не было тишины, и я не понимала, почему им разрешают такие игры — по той дорожке часто гуляют престарелые дамы с пекинесами...

— Ты ведь сегодня уезжаешь, да? Это хорошо.

— Я хочу домой. Но почему «хорошо»? Разве я вам мешаю?

— Фрау Шнайдер сказала на классном собрании, что не сможет больше вести урок, если ты будешь сидеть в классе. Она сказала директору, что ты совершенно не понимаешь наш язык, и вообще вы какие-то дикие. И вот...

— А сегодня мне можно остаться? — я вовсе не хочу оставаться. Но если приду домой так рано — Людвиг расстроится.

— Сегодня можно, — Анке облегчённо вздохнула, как будто это так трудно для неё, — и знаю я, что эта девочка ничего не говорит от себя. Её не зря сразу познакомили со мной. Кто её просил? Директор?

— Анке, а ты почему стала со мной дружить?

Думала — растеряется или станет стыдно, только я этого не вижу, потому что очки у неё в пол-лица.

— Герр Эрнст просил. И директор.

Герр Эрнст — это Людвиг. Надо же, а я забыла. Да, я так ни с кем и не подружилась. И потом буду рассказывать маме, как мы ездили за покупками в Хальберштад, ели мороженое в глазури из настоящего шоколада, а я только подходила к ним до начала уроков, говорила «Morgen», очень стараясь нечётко выговаривать окончание, иначе они могли начать смеяться. Да они, наверное, и смеялись, когда я уходила в класс. Мама, наверное, я сама виновата.

Сегодня я сидела одна на предпоследней парте.

13

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 5 января 1987 года.

Мой рабочий день начинался в шесть утра, и в шесть с минутами я уже был на рабочем месте. Ещё через две минуты зазвонил телефон. Я взял трубку и услышал голос моего брата.

А тогда мало у кого был домашний телефон — конечно, он звонил с почты. В эту же секунду я понял, что произошло что-то ужасное. Он сказал:

— Думаешь, если я звоню так рано, то что-то случилось?

— Что-то с отцом? — спросил я.

— Нет. Мама.

Я не смог сразу ответить, потому что не было слов: я этого не ждал. Я сказал ему, что сейчас же приеду в Шванеберг, зашёл к начальнику, а тот отправил меня домой.

По счастливой случайности Катарина была дома. Мы собрали всё необходимое, сели в наш маленький жёлтый трабант и поехали туда, откуда я двадцать лет назад уехал и не слишком хотел бы возвращаться. Было очень холодно; дорога местами сильно обледенела. Лучше бы дома сидеть в такую погоду. Эти пятьдесят километром мы ехали почти час. Почти везде дорога была гладкая, как зеркало. Впереди нас ехал велосипедист — кажется, он совсем не боялся.

Наконец мы доехали до Линденштрассе, а это уже был Шванеберг. Старые липы стояли совсем нагие.

Мы пришли в родительский дом. Отец, брат и его жена сидели в гостиной. А мама лежала на кровати, одетая в своё лучшее платье.

Брат сказал мне, что гроб уже заказали, а во мне ожили воспоминания. Когда я только учился на столяра, наша группа тоже делала гробы, мы всё это уже хорошо умели. Наш старый мастер умер как раз в тот год, и гроб ему мы тоже делали группой. Нам заплатил его сын — он был на два года моложе меня. Потом он стал начальником нашего предприятия. Видимо, гроб для мамы заказали как раз у него.

Но они почему-то не торопились привозить заказ. Телефона у родителей не было, и позвонить мы не могли. Тогда мы с братом собрались и поехали на моё предприятие, откуда я утром уже уходил. Там никого не оказалась, только вахтёр сказал, что у нашего шефа тоже кто-то

умер, и поэтому сегодня он всех отпустил. Я знал, что его мать уже долго болела. Она далеко жила, дальше Магдебурга. Но что теперь нам делать, я не знал. Было почти пять, и сумерки сгущались.

Я сказал брату:

— Мы можем ещё поехать в Ванцлебен, там есть какая-то контора.

Это была очень плохая дорога. Я почти не видел её.

А там было очень мало гробов, и владелец конторы сказал, что после рождества заказов мало, и он может предложить только недоделанный и пока не покрытый лаком, но это всё, что есть. Да и то привёзти его сможет только завтра.

— Вы не понимаете. Мы не можем так долго ждать, — ответил я.

Вы можете похоронить её в ящике для белья, предложил он. Да, этот странный человек почему-то совсем не боялся, что мы у него ничего не купим, раз советовал такое.

— Я отвезу его сам, — ответил я. — Тогда продайте мне две длинныи гладкии доски — я хочу сделать полозья...

И я купил этот гроб из необработанного дерева — он стоил недорого. Я вёз его за собой через заснеженные поля, но это было совсем не страшно, ведь я вёз его для моей матери.

Весь оставшийся вечер до поздней ночи я вспоминал то, чему меня научил мой умерший мастер, — я обработал неровную деревянную поверхность, покрыл лаком, обил белой тканью с рисунком из маленьких голубых роз — другой у нас не было. Я никогда не думал, что когда-нибудь моя профессия, которая мне никогда не нравилась, окажется насколько кстати. К полуночи гроб был уже готов.

14

ЛЮДВИГ ПРОВОЖАЛ меня один, потому что у Катарины сегодня бассейн — каждый четверг около пяти или ровно в пять они с приятельницами и всё такое. Я знаю, Людвиг, не извиняйся. Мы попрощались вчера, за ужином.

— И в общем, извини, что я была такая.

— Какая? Нормальная. Хорошая. На пианино играть учились, — он хотел, чтобы я училась, и ему нравилось знать, что кто-то в комнате за занавеской открывает его старые нотные тетради, его смешные книжки музыкальной грамоты, где над каждым пальцем подписано — этот, мизинец, Ганс, тот, что побольше, — Мартин...

— Да я не буду никогда играть — если только у тёти. Но у неё старенькая мама, мне будет стыдно — я же знаю, что у старых всегда болит голова. — Людвиг, я же слышу, что поезд прибывает на третий путь — ты же не побежишь по ступенькам, нет? Тогда я побегу, мне пора, поезда стоят три минуты — и больше не будет, если даже чемодан тяжёлый и трудно бежать на каблуках.

— Мне извиниться за тебя перед той учительницей? По этике? Да?

— Извинись.

— Ты теперь будешь всем рассказывать, как у нас плохо? Как соседи не работают, а разводят кроликов? И никто не может кинуть окурок мимо урны, потому что — страшно?

Чего же ты боишься, никто не наблюдает, никакой маленький город не сможет платить сотням полицейских.

— А знаешь, что всё не так плохо, — я родился в деревне, и отец очень хотел, чтобы я получил какую-нибудь рабочую профессию — как раз такую, чтобы класть красную черепицу на крышу... А я-то вначале пел в школьном хоре и потихоньку забирался в музыкальный класс, ведь там были флейты и барабаны. Мне играть хотелось. Но...

— Так кем ты потом работал, Людвиг?

— Столяром. Ну и что. Ты печальная сегодня, не грусти...

— Не буду. И знаешь, у нас есть шоколад. Хороший. Даже такой же, как у вас. Я тебе пришлю как-нибудь, если на почте разрешат.

15

МОЙ СЫН, КОНЕЧНО, не пошёл бы на столяра, даже стань я настаивать. У него были совсем другие руки — другие пальцы, хирурга или музыканта. Мы пели с ним по субботам, и это было прекрасно — маленькие семейные концерты, и Катарина пекла вишнёвые пироги. Да, он забирался на маленькую табуретку, я садился за пианино. И слушали друг друга.

Он не стал музыкантом — возможно, потому, что я слишком этого хотел, а Мартин был упрямый мальчик, и я не удивлюсь, что большинство его поступков были сделаны мне назло. Он рано уехал от нас, постаравшись устроить так, чтобы мы поменьше знали о его учёбе, его доме, его жене. И все же первое время он часто звонил — каждую субботу, после ужина — меня очень радовало, что он всё ещё помнит, в каком часу у нас в доме ужинают. И это я был во всём виноват — когда-нибудь потом он признается, что ненавидел эти домашние концерты, табуретки и гостей. Ненавидел маленький нарядный

пиджачок, который Катарина купила ему на рождественской распродаже, и блестящий сатиновый галстук.

Теперь каждую субботу после ужина я жду, чтобы он позвонил.

16

МАМА, Я СКОРО вернусь. Осталось ещё немного поезда и две границы — всего ничего, обещаю, ты не заметишь, как всё закончится. И я не замечу, и постараюсь всё время спать и не смотреть в окно. И если посмотрю — не испугаюсь.

Мама, кажется, я всё-таки потеряла крестик. Честное слово, не хотела, и не заметила, как шнурок развязался и соскользнул. Интересно, где теперь он лежит — под партой в школе или в щели между камнями мостовой? Если когда-нибудь вернусь, пойду искать, поэтому, мама, постарайся не ругаться, когда я приеду. И встречай меня на вокзале в восемь, если у тебя нет других дел — если не забыла, что я приезжаю.